



казывается, жизнь на девяносто процентов состоит из ненужных нам вещей и поступков. Это я поняла после смерти мамы.

Мне приснился сон — мама лежит в хате, под иконами, я держу ее за руку и вдруг чувствую пожатие, рука теплая, и я кричу: «Она ведь живая, она просто заснула!» И это счастье во сне... Долго еще радостно было и наяву, будто она и впрямь живая.

Вспомнилось, как мы покупали табуретки. Специально поехали на рынок. Мама мне говорит: «А то, если я „того“, так и положить не на что».

А я зорко гляжу на базаре по сторонам, еще издали увижу табуретки, и отвлекаю, отвожу ее в другую сторону.

Зимой приехала, а табуретки куплены. Без меня.

А 2 мая ее не стало.

Мама была очень думающим человеком, рвущимся в тенетах беспросветного быта.

Почему моя старшая сестра заболела тяжело и неизлечимо? Почему погиб брат? Почему мама моя перенесла столько страданий? Неужели логика и смысл жизни в следовании за природой, за ее неумолимыми законами? И не надо отступаться от

земной любви, от ее зова, даже из приличий, из «долга»?! А как же совесть — неужели это только христианский предрассудок?! Но ведь нелюбовь отравляет не только твою собственную жизнь, но и будущую судьбу детей, внуков... Кто же прав?!

Жизнь так быстро проходит, а я внутренне всегда жила в неспешности и не считала годы. Много времени тратила на переживания (на безответное чувство, например), мало — на комфорт, зарабатывание денег. Кто же будет сводить баланс? И что зачтется? Гармония? Я пыталась ее постичь, и быстрее всего пролетели счастливые годы. В них я проживала страдание, накопленное прежде.

Горе может быть таким большим, что в нем теряешь остатки убежденности.

Горя свалилось на нас так много, что оно даже чуть разделило нас.

Когда же мы ближе к истине: когда летим на крыльях счастья, когда все разбито горем и отчаянием, когда наступает серая беспросветная полоса «равнодушия», «бесстрастности»?

Я не знаю.

Мама умерла, но она со мною. Нет будущего, а прошлое вспоминается и исследуется без конца.

Смерть мамы должна была, наверное, мобилизовать меня, а она «потрепала основы».

Пока человек убежден, что он счастлив, никто не уверит его в обратном, даже если он ниц и ходит в рубище.

Но если человек теряет убежденность, «стабильность» вокруг не спасает — все рушится.

Как же обрести равновесие? Как вернуть силы? Давно я не была в такой яме...

Вдруг я поняла, что тот дом, где серебристый тополь, где мама, где стена кукурузы, вишня необорванная — он словно остался где-то в моем воображении. А этот дом уже будет не вполне мой — дом отца, сестры... А мне даже на могилу не очень хочется прийти...

И тут меня поразила мысль — сколько ничтожных художественных образов запечатлено людьми, а сколько достойного памяти и внимания никому не известно! И навести здесь справедливость не представляется возможным. Но так заполнить убогими метаниями убогих людишек мысленно-чувственную жизнь общества!.. А мама моя — вне известности.

В чем состоит смысл художественного творчества и жизни? Писатель бьется, тщеславится, он известен при жизни, пусть его будут читать потом еще лет двести после смерти (если будут). И — все... А сколько духовных сил потрачено! Сколько жертв принесено! И все во имя чего? Неизвестно.

Смысл жизни состоит в том, чтобы жить при жизни. Но как? Мне кажется, моя мама как раз и давала пример такой жизни — жить своим трудом, всем помогая, не допуская излишеств ни в быту, ни в еде, ни в одежде. Она уставала, конечно, безумно — от работы, от тоски по погиб-

шим детям, от тревоги за детей живущих, от отца, с которым у нее не было понимания. Оттого и мечтала она: «Если б повторить, я б жила одна, ни за кого б замуж не пошла».

Москва загажена, задымлена, прокурена, просмогована, провонялась пивом, собачьими экскрементами, изношена скученностью задержанных людей.

Хочется уехать куда-нибудь, чтобы побыть одной, совершенно одной.

Еще прошлым летом в Юрьевце даже после смерти сестры я была намного ближе к счастью, чем сейчас. Вернулась из отпуска к родителям, читала Гамсуна в самой дальней комнате, лежала на продавленной кровати, как в люльке, и думала: «Боже, как хорошо быть дома!»

Почему же и это счастье у меня отнято?

Все наши хилые попытки разгадать жизнь, все наши религиозные и философские построения ничего не стоят по сравнению с той истиной, которая есть. Лучше уж совсем не думать на эти темы. И действительно, люди, мало размышляющие над плодами с древа познания добра и зла, кажется мне, намного счастливее — в быту и в жизни. Ну мелки, ну на ладони все, ну живут со страстишками... И что? Кажется, что, чем примитивнее истины, вбитые в человеческую голову, тем более это существо счастливо.

Жизнь — свечечка, так быстро она сторает. А может, жизнь — это трепетная свеча, которую мы затепливаем в храме перед всемогущими и печальными ликами?!

В кармане маминой «кухвайки» — два сильно неполных спичечных коробка, удобный мелок (портновская привычка, что-то написать, отметить), две разные пуговички — красненькая и темная (где-то подобрала) — бережливость, можно потом пришить, применить. Да, и завязанные в узелок семена — в марле.

Погружаясь в мир дома, семьи — каким суетным и ненужным кажется отсюда многое! Особенно — литература.

Истинную цену многому осознаешь только после потери. Оказывает-ся, мама — это не просто родной человек, не просто дом, не просто тепло и понимание, не просто «гостинчик». Мама — это глубинная и, может быть, единственная связь с вечностью, со всем миром, со Вселенной, со всем счастьем и радостью. И что происходит с человеком, когда умирает мама? Неужели эта нить рвется навсегда? И видят ли души умерших нас своим духовным оком?

Мы все живем в заблуждениях разных степеней.

«Красота ты моя белая!», «Ягода ты моя зеленая!» — помню, в детстве говорила мне мама. При всей своей внешней суровости она была очень нежным человеком с ранимой душой. Мама жила по высочайшей нравственной планке, не замечая этого, и всегда поражалась, когда не встречала подобных качеств в людях.

Природный дар слова, природный ум, отличный вкус, и — простота, доброта, уникальная честность. А трудолюбие? А воля? А бесконечные

стройки-постройки? А четверо детей (двоих похоронила)? Нет, вы попробуйте при таких испытаниях прожить 72 года! И умереть — в силе, с большим запасом жизни.

Большой интерес к людям, к новостям (не для праздности, а для размышлений и выводов). Большой интерес к траве, к дереву, к поросенку, к Библии, к неуклюжему стихотворению в районной газетке. И — малый интерес — к себе, к своему здоровью и самочувствию.

Виноваты ли близкие? Да, конечно. Но есть еще воля судьбы, и с ней ничего не поделаешь.

Погрузившись в свое горе, которое со дна души всколыхнуло весь «ил», все сомнения, что там дремали, я будто вновь осталась одна, одна. Но, слава Богу, мы опять встретились, опять вдвоем, и теперь уже говорим не о любви, а о душе, о помощи друг другу. Жизнь дается один раз, один раз, один раз...

На кладбище. Был яркий день, а вчера шел дождь, и пионы, хоть и привяли, все равно пахли — пьяняще. Розовые ласковые лепестки. А вдали чьи-то родственники опраивали могилу, и слышался смех. Не могу представить, что настанет время, когда мне будет так же беззаботно у могилы моей матери...

Шла с кладбища. Лес был полон птичьего свиста. Иволга желтая летала. Я подумала: может быть, на том свете ангелы показывают человеку — вот какой могла бы быть счастливой твоя жизнь, а ты там ошибся, там... И человек страдает от этого ужасно. Но если он своими земными страданиями и поисками заслужил прощения, может быть, ангелы разрешают, наконец, осуществиться его несбывшейся жизни?!

О гордыне. Это страшный грех: «Что хочу, то и делаю со своей жизнью». Вместо того, чтобы делать то, для чего ты рожден. Бог, наверное, наказал меня за гордыню.

А мама, конечно, думала обо мне лучше, чем я была на самом деле.

На вокзале. Вдруг пришла «спасительная» мысль: а что, если думать, что мама жива, она там, дома, просто к трубке не подходит — вышла из хаты, на дворе.

С мамой ушла красочность, широта и щедрость нашего дома. Осталась схема, польза, скука (вернее, они пришли на смену).

Где-то вычитала: жизнь протянется — всего достанется.

Мне казалось, после 40 дней стало легче. Но это — обман. Беда живет в сердце, скорбь — сушит.

Вспоминаю смерть бабушки, нет, это совсем не то, я с ней не была так связана, просто мистический страх и все. Мама умерла — страха нет. И нет понимания, как жить теперь, в таком одиночестве, «одиночестве крови».

Нет мамы, и — тоска. Словно не для чего жить. Все — временно.

Мелькнула, как метеор, оставив после себя огромный освоенный пласт жизни: множество посаженных деревьев, два дома, два гаража, сарай (бессчётно), дети — четверо... И множество сшитых для других вещей (для себя перешитых из чужого). Множество сваренных борщей и сжаренных картошек, множество прополотых огородов, раскиданных машин земли (от затопления, дом наш на низком месте), множество выкормленных поросят, утят, цыплят... Множество писем, написанных удивительным почерком — очень устойчивым, округлым, правильным, красивым. Округлый почерк — доброта.

Даже из срубленных ею сосенок к Новому году можно составить «бор», а сколько перестирано белья, вымыто полов, сколько слеплено изумительных пирожков, вареников, пышек, испечено хлеба! Труд — с утра до вечера. Умирать не собиралась. Утром в этот день говорила: «Если соседей дома не будет, пойдем и отпилим ветку с яблони, свисает на наш огород».

Когда теряешь маму, вдруг понимаешь — весь ты в воле Христа. Дома больше нет, а есть одна большая пустыня.

Громадное отвержение прошлой жизни: может быть, слишком погруженные в свое счастье, мы и не заметили, как нуждались в нас наши близкие?

Тоска. Неохота никого видеть. Хочется, чтобы про тебя и про твои несчастья люди вообще ничего не знали.

А жальче всего прутики яблонь, посаженные ее заботливой рукой осенью (куплены за 60 рублей на рынке). Быть может, так она хотела обмануть смерть? А может, грустно думала о том, дождется ли с этих прутиков яблочек? Одна яблонька расцвела большими, наивными, нежными цветами.

Есть у нас убогий Володя — больной, юродивый, скитающийся человек. Щетинистое лицо, глаза бегающие. Вдобавок еще и немой. Зимой примерз в овраге, потерял пальцы рук. Дома не сидит — все время в странствиях, сборе милостыни (хотя у него есть дом, родные, пенсия по инвалидности).

«Человек проходит как хозяин», — говорит сестра о Володе. Как-то он своими культями принес маме сирень, после того как она его отругала за своевольничание в нашем дворе. И еще кидался маме руки целовать. Она так плакала, потрясенная его чуткостью!

И вот Володя опять явился. Напился у колонки воды из зеленой кружки. Взял пирожки и конфеты (сложил в грязный узел, где у него связано одеяло) и мычанием попросил мелочь. Вроде как слезы наши забрал...

Жальче всего «варюжки» (варежки), которые вдруг найдешь в самом неожиданном (для нас) месте — на подоконнике в сенцах. Они лежат — одна на одной, они помнят форму ее ладоней, пальцев, самовязанные варежки из шерсти, после резинки ряд или два провязан белой нитью — «фасонец», как говорила мама.

Потом вдруг обнаруживаются старые брезентовые тапочки — один на одном. Их пытались ремонтировать, прошивать ниткой, задники стоптаны. Но почему-то эти древние тапки сохранились, а мамы — нет...

Ночью вдруг заболело, заныло сердце. А днем я думала: зачем? Зачем все это? Мама ушла в високосный год. Цвела вишня — пьяняще; ночью, когда она умирала, пел соловей. Теплая ночь. А тополь серебристый еще не распустился, листья на нем появились позже, к девятому дню.

Морг — обычный сарай. Там лежали тела двух мужиков и она — даже ничем не прикрытая. Везли из морга на самосвале.

В день похорон — легчайший слепой дождь, когда машина шла на кладбище.

Впереди баба Параня (развевающиеся белые космы из-под синего платка) несла икону Богородицы. Потом шли дети и подруги с венками. Дети потом мне жаловались: мол, бабки всю дорогу до кладбища разговаривали о своих любовниках.

Вспоминаю, мама рассказывала: «Полину встретила, а она прям отворачивается: — Дура, замуж пошла! Зачем мне этот замуж? Дед вытрепал меня, вытрепал. И сама я никуда не гожа. Ты меня не узнала, да?»

И про Параню. Пришла к нам вечером в хагу, села, рассказывает про деда со своей улицы: «Семьдесят лет ему — года по ребрам не бьют. Я посмотрела на него в доме престарелых — такой бодрый, наглаженный. А ты в кубанке, я вижу (отец сидел на кровати в ночном колпаке)».

Стряпухи поминального обеда. Строгая «читака» (женщина, которая читает псалтырь). Певчие с сильными, рвущими душу голосами («Там они сумки понагрывают», — говорила о них мама).

И понимание того, что в этом мире литература и слово никому не нужны. Вряд ли из всех этих людей, бывших на похоронах, кто-то читал взапой, как моя мама. Что же она искала в слове? Что ее звало в нем?

Нет, слово, так истончающее человека, делающего его таким ранимым, хрупким, здесь совершенно не нужно.

Еще пригодятся в дни скорби «читаки», поющие чужие, составленные до них псалмы, а слово, нет, оно не нужно. Представила почему-то Николая Рубцова — он бы показался здесь просто дурачком. В цене — крепкие люди, построившие детям дома (или купившие в городах квартиры), люди с трудовым (хозяйство) или зарплатным достатком (на худой конец, с достатком воровским), люди с машинами, с дорогой, с базара, праздничной одежде. Востребованы дельные мужики, и тут между ними чувствуется невыговариваемое вслух соперничество. Приветствуются и бой-бабы, умеющие и работать, и спеть-сплясать. Хорошо, когда есть в семье дети неизбалованные, растущие вроде как деревце от солнца.

Но при чем тут слово? Оно вроде бы совершенно не нужно. Другое дело — слово юриста, результат этой «болтовни» — наглядный и зримый. А слово писателя тут не нужно. Оно даже странно.

Особенно тоскливо, когда приближаешься к дому. Раньше душа была спокойно-счастлива в ожидании доброй встречи, теперь она сиротлива и как бы несправедливо обижена.

Везде мамины руки — в том, как застелены самодельными накидками кресла и как наклеена фотография на картонку (сверху обернута целлофаном от пыли и мух), как аккуратно вырезаны из календаря иконы Спаса и Богородицы, как зачитана Библия (больше Новый За-

вет, там страницы потемнее), как цветут в кувшине бело-розовые лилии — искусственные, купленные ею... Боже мой, как же одиноко стало в мире!..

Ушла вслед за своими детьми. Они были так похожи и так непохожи на нее...

Примерно за месяц до маминой смерти приснился мне сон — залетела в комнату желтенькая птичка. Потом я с тоской вспоминала сон — мы шли с кладбища после похорон, и я увидела ту же самую иволгу.

Который уж вечер разбираем с отцом наше генеалогическое древо. Неосознанно я все ищу причинно-следственную связь — смерти брата, болезни сестры, смерти — внезапной (как будто она умерла за кого-то!) мамы. Наверное, в «генетическом банке», с которым рождается человек, хранится вся (хорошая и дурная) информация о деяниях его предшественников, кровных родственников. И в зависимости от того, в каких условиях человек оказывается, включается как реакция та или иная ячейка «памяти». Т.е. будущее почти на 99 % предопределено прошлым. Один процент, который может стоить и 50, и 75 — созидательная, спасительная вера человека. Она приносит праведную энергию, которая готова отодвинуть в сторону любую наследственность. С этой точки зрения следование церковным правилам — выход.

Сегодня читала выдержки из евангелистов о жизни и смерти Христа — и вдруг была поражена его человеколюбием, смирением, внутренней нравственной силой. Я стала думать: если суд вершит он, то маме моей воздастся по заслугам за все земные страдания. Но когда я читаю мрачные аскетичные церковные сказания и молитвы, где фигурирует беспощадный и жестокий (как земная жизнь) Бог, вера моя начинает страдать. От чтения же Евангелия пришло спокойствие, умиротворение.

Мама моя умерла как святая. Она и была, наверное, святой еще при жизни. Для меня, во всяком случае. Сколько в ней было доброты, сочувствующей мне! Сколько неубываемого тщательного трудолюбия! По ее способностям суждена была ей другая жизнь. Какая? То не знает никто. «Я буду молиться и работать и буду долго жить», — говорила она больной сестре, пытаясь добавить той сил и воли.

Стоит остаться наедине с собой, и накатывает тоска, отчаяние, жальность.

Пришла сегодня большая, темно-синяя туча с ливнем, били молнии, грохотал майский гром, потом длинные струи стебали землю, а я думала о ее могиле на кладбище, и мне почему-то стало зябко. Как она там? Где ее душа? Неужто и там она будет переживать и терзаться из-за нас?

Люди совершают страшную ошибку, лишаясь труда непосредственно на земле, лишаясь возможности жить в доме, построенном своими руками, иметь какие-то сарай, кухни, огороды... Эта простая жизнь одна имеет право на существование: «работать в поте лица своего», есть хлеб (картошку, овощи), выращенный собственными руками. Громадная ошибка: потерять зов земли — значит потерять родину.

Звонила Ирина С., выражала сочувствие, рассказывала о своей маме (у нее тоже инсульт), потом хвалила мою книгу. А я думаю, что никому это не нужно. Ну, разве что маме моей нужно было. И то она всегда почувствовала моей работе.

Неужто высокое искусство (если оно не приносит денег) действительно никому не нужно? Музыканты хорошо живут, художники-дизайнеры. А что слово?!

Может, действительно в писательстве важен не помысел, не душа художника (в чем я была убеждена прежде), а способность видеть деталь, кудряво записать мыслительную игру, сплести бойко сюжет? В общем, главное — ремесло слова, и при чем тут душа?!

Мама, мама! Разве что во сне когда увижу. Это был великий человек, большая душа! А вот наши дети уже так не будут говорить о нас. Мельчат народ.

Вдали от ТВ, газет, радио, интернета — жизнь на земле. Насколько она нужнее и полезней душе. И разве человек, работающий на земле, думающий о ней, о своих детях, внуках, разве он глупее тех, кто рвется к власти, мчит в «Мерседесе»? Нет, ничего этого здесь не нужно. Это даже смешно здесь.

Когда я отвлекаюсь (иногда намеренно) чтением книги, беседой, успокоением себя иными мыслями и не думаю о смерти мамы, потом, когда остаюсь наедине с собой, накатывается удвоенная тоска, будто я совершила проступок, грех. Хорошо только в молитве, в тишине, в бесконечной думе о ней, в ровном свечении синей лампадки (я купила) перед иконой Богоматери Иверской (покупала она). Много раз в церкви я ставила свечи перед этим образом, молясь о здоровье мамы, и вот этот ровный, мягкий свет лампы, и — отраженный, золотистый свет иконы. Душе здесь покойно. Может, в этом и есть смысл жизни — не заедать чужой век, жить своим трудом, не гнаться больше ни за чем в этом отравленном водами, деньгами и ложью мире?!..

Мир покоя создали мои родители. Громко идут на часах секунды. Громко и мерно. Листья яблонь за окном не шевелятся в пасмурном дне. Как хорошо, как покойно в этом доме! А ее — нет...

Но когда я иду по двору, или даже сижу в комнате, или гремлю кастрюлями на кухне, вдруг мне кажется — она здесь, рядом, наблюдает за мной! (Соседка Таня рассказывала, что она ехала на велосипеде мимо нашего двора и слышала ее голос... А еще ей приснился ее покойный отец в белом городе). Душа нашего дома сочувствующе смотрит на меня, и говорит, сожалея: ну что же ты?! Мамина душа — в этом сохраняемом все еще духе дома, который самую простую и грубую пищу делает вкусной и нужной, а деликатесы — избыточными и искусственными, душа мамы делает сон здесь желанным и глубоким, а труд — исполненным смысла и хорошей усталости.

Я думаю: какой большой трудовой доброты была исполнена ее жизнь! Это постоянное недоедание, бережливость (ради детей, потом — внуков), и никогда не было шика — вечное самоограничение. Почему же судьба оказалась к ней так жестока? К ней, так любящей жизнь и изначально ищущей в людях хорошее?! Это неясно.



На улице сыро, пасмурно, холодно, хмуро, зябко. Ежусь, когда думаю: как там ее (почему-то думаю «наша») могила? Замерзли цветы на венках, полиняли ленты, осел бугорок. Только крест — влажный от дождя — недвижим и молчалив.

«Любовь к отеческим гробам»... До сих пор все это кажется как во сне. А жизнь других людей тоже наполнена скорбями. Жизнь быстротечна, и трудно в ней не только отыскать смыслы, но и даже братья за их поиск.

Радость природная, естественная заключалась в рождении детей, в наблюдении за их ростом, за их постижением мира. Это было хрупкое счастье — жизнь человека постоянно подвергалась опасности — война, болезнь, травма. Не то — техногенные радости. Квартира или машина — гораздо устойчивее, чем человеческая жизнь. Общение с детьми заменяется на досуги — кино, книги, путешествия. А чувственный голод вполне замещают собаки или кошки — домашние животные. Они менее хлопотны в быту — интеллектуально не растут и свою «долю» в имуществе не потребуют.

Наш некогда большой и сильный крестьянский род вдруг стал с каждым поколением стремительно мельчать в детях. Особенно с середины 50-х годов XX века.

Как любила меня мама! «Красота ты моя белая!», — помню, восхищалась она мной в детстве. В ее жизни не было взаимной любви. А были 20 лет с лишним непрестанной боли — за болезнь сестры, за смерть брата. «Есть ли на свете человек несчастней, чем я?» — вопрошала мама в своих «Архивах» — так назывались две синие общие тетрадки, куда она в последние годы записывала молитвы, наиболее значительные события из хозяйственной и семейной жизни. Она так и не смогла примириться с несправедливостью судьбы.

Читала Евангелие, там говорится о том, что настанут времена, когда радоваться будут «неплодные», т.е. бездетные. Неужели это время пришло? Неужто «человек природный» канул в прошлое безвозвратно?

От инсультов и инфарктов в России ежегодно умирают больше миллиона человек. Сосуды («реки») засорены, загажены. Отравленной водой, воздухом и пищей, ядовитой информацией. «Блаженны неплодные»? Как же прожить свою жизнь не зря — не только не мешая другим — но спасая всех?!

Эта ночь у гроба... Эти трудовые, сильные, с несходящим даже зимой загаром, трудовые и молодые руки, такие родные — навсегда ушедшие. Руки — ее и мои — очень похожи, только мои — городские, привыкшие к компьютерным клавишам и карандашу.

Цвели у изголовья тюльпаны — кроваво-красные, живые. А днем бабок набилось видимо-невидимо. И внуки приехали. Сын умершей сестры — высокий, красивый, статный парень. Основательно клал на грудь большие хохляцкие кресты. А у сына погибшего брата — светящиеся глаза. Выглядит старше своих лет. Начитался Проханова и Климова, рвется в бой.

Из пенсии мама наэкономила денег — тысячу рублей — и отдала родственнику починить машину: «Хоть картошку с огорода будет на чем привезти». — «А я ездить на машине уже стар». И проел, пропил эти деньги...

В «Архивах» и самосочиненных ею молитвах основной мотив такой: «Дай, Господи, терпения!»

Похожу, похожу вокруг телефона (а кому звонить?) и думаю о том, что больше никогда (разве что во сне) не услышу ее приветствие, или: «Ну, легче стало?», — это когда я перезванивала ей, чтобы они деньги не расходовали, или заключительную фразу: «Храни вас Бог!» Во сне мне явился ангел (или святой?) в золотом нимбе, я шла в церкви направо, а он меня ласково погладил (пожалел) по голове.

Еще в школе, помню, я завела «словарик» — обычную тетрадку, куда мы с сестрой записывали наиболее яркие мамины слова, выражения и определения. Тут были и архаизмы, и неологизмы, и просто меткие характеристики. Перечитывать и пополнять словарь было для нас редким семейным удовольствием — мы хохотали до упаду, мама — улыбалась...

Потом тетрадка пропала. Я долго ее и упорно искала — в сундуках, на чердаке, в книжках. Наконец мама призналась, что сожгла словарь после смерти брата.

«Зачем?» — изумилась я. «Какой тут смех при таком горе!..»

Брат подбивал сестру пропускать школу, чтобы резаться в карты (это было еще до моего рождения). Карты он сам делал из картона. Другой любимой забавой было разглядывание лошадей в учебнике по ветеринарии. «Я — Буденный!» — «А я — Чапаев!» При тогдашней бедности и дефицитах игрушки мастерили себе сами: например, плавил из свинца пистолеты.

А были ли радости? Ну, совсем крохотные. Внучки прислали открытки. Или конфетами угостили. Или успокаивающее письмо от сестры. Или радость от убранного до дождя огорода. Или... Ну вот и все радости.

Да, еще юбка перешитая из дочерниной — с клинцами-вставками и карманами.

Ушла — как звезда на небе погасла.

Так что же есть жизнь, и надо ли ее осмысливать? Есть, есть еще люди, в ком священный огонь природы и высшего человеческого разума не загас, но их мало, и они светят зачастую для себя и своей семьи. И при чем тут литература, слово? Да ни при чем. Оно и не нужно, наверное.

Только и дают пожить человеку в молодости, когда есть здоровье, живы родители и он не омрачен скорбями. А что дальше? Печальный груз жизни. «Бедная кляча из сил выбивается...» — часто цитировала мама.

— А я тоже была на похоронах.

— У кого?

— Тише! Тсс! Жора мой помер у любовницы. Она позвонила и говорит: как хотите, а я его хоронить не буду. Забирайте.

А мы с ним десять лет уже не живем! Но вот, взяла и похоронила, куда

деваться. Теперь от всех скрываю позор, — говорила женщина, онкобольная, у которой год назад отрезали грудь.

В своем «Архиве» как бережна она была к близким! Никого не упрекнула, даже тех, кто заслуживал ее осуждения. Только просила у Бога терпения, да благодарила Его за прожитые годы. Писала о потерянном сыне (наверное, из районной газетки взяла эти строки): «Тебя уж нет, а мы не верим,/ В душе у нас ты навсегда./ И боль свою от той потери/ Не залечить нам никогда».

И еще одна запись меня поразила: «День был хмурый, как моя жизнь», — это о 52-й годовщине свадьбы. (Замуж мама вышла 22 октября 1951 года.) В другом месте: «Никто не знает, как я несчастна».

И еще: «Не бросай меня, Бог, помогай».

Почему же моя мама так чувствовала «одиночество крови» при такой многочисленной родне? Может, на мою маму просто не хватило родительской любви? Не знаю.

А вот я ее очень любила. Другое дело, что не всегда мое чувство было созидательным, действенным. Все ушло. Теперь уже ничего не поправить.

«Она в семье своей родной/ Казалась девочкой чужой». Была она глубже, умней, начитанней, образованней своих близких. Не было в ней гордости или превосходства (но это само как-то обозначалось и проявлялось), а уж насколько она была нравственней!

Помню, возвращалась я в поезде от смертельно больной сестры, в вагоне пели, смеялись, всю дорогу нас веселило радио.

Жить сестре оставалось — 1 месяц 19 дней...

А я ее запомнила — белый платок на голове, солнышко, она шурилась, выползла, опираясь на палку из дома (уже плохо ходила, метастазы пошли по костям), села на доски. Говорит мечтательно: «Как охота пожить, хотя б годик!»

Так что же, тот гимн жизни и любви, который звучал в моих рассказах, есть только обман? Неужели все это — обман жизни?!

Образ мамы у дерева — она мне машет, я уезжаю. Машет, пока не сяду в такси или в автобус и не скроюсь с глаз. Теперь вот некому махать... Мама — аленький цветочек мой! Горько душе от того, что надо жить с этим горем, и жить, вроде скрывая от других, не показывая своих чувств.

Среди спрятанных мамой книг (наиболее дорогих, наверное) книжка «Отчий край», которую я привезла с Азовского моря (купила на лотках, читать было совершенно нечего). Это книга ее молодости, она ее читала пятьдесят лет назад, и с тех пор помнила. Она так обрадовалась и удивилась этому роману, долго перечитывала, а потом хранила, как дорогую сердцу и воспоминаниям вещь.

Иногда мне казалось, что во мне столько любви, что я управляю миром, и он развивается по моей щедрой и доброй воле. Неужели это была иллюзия?

Все пока в доме осталось так же, как было при ней, а ее — нет. Даже стулья стоят так, будто она их поставила. А рюмка с вином накрыта пирожком — поминание.

Надо взрослеть, братья за ответственность, наставлять младших. А я, пока была жива мама, все считала себя маленькой или молоденькой. Мне и сейчас кажется, будто она куда-то вышла. А ее больше нет и не будет. Как же примириться с этим? Остались мы с сестрой вдвоем. Еще есть дети, племянники. Ну, дай Бог материнскому языку, материнской воле и силе духа продолжиться.

Каким постылым кажется наступающий день, когда ты знаешь, что в нем нет никакой надежды на радость!

Да, смысл жизни теперь свелся к исполнению обязанностей. Никаких прав.

Неужели смысл жизни состоит только в том, чтобы оставить после себя как можно больше слез, страдания и скорби своим близким?

Почему-то самое сильное чувство, которое я испытываю, — это чувство вины перед другими, когда они начинают сочувствовать моему горю. Они даже не догадываются об этом беспрестанном чувстве, которое сильнее, чем скорбь. Вина не за то, что я чего-то не сделала, когда случилась сама беда, а вина за свою прошлую жизнь, может быть, последнее десятилетие, и вина не за конкретное проявление невнимания или небрежения к матери (хотя и это было), а как-то за всю свою жизнь сразу, которая и привела к такому финалу...

Жизнь должна быть изменена. И для этого нужно время для переживания, для изменения.

Неохота никого видеть, никого любить, ничего делать. Больше всего неохота выслушивать слова сочувствия — совершенно ненужные, вызывающие приступ жалости даже не к себе, а к покойной.

Этот стук молотка — гулкий, бережный — обивали гроб черной тканью, на крышке — крест розовой тесьмой. Зять тоже оббивал. А к гробу, к покойной, прощаться не подошел.

Хочется быть одной в этом горе. Может быть, страдание и есть самое большое богатство человека?

Город пожирает наши чувства. Даже непонятно, что же он дает взамен.

Легче становится, когда погружаешься в грезы (будто мама жива, и ты ей делаешь что-то приятное), или в молитвы (по сборнику «Молитвы разные»). Именно на это время и становится легче, потом — нет.

Вдруг мне пришло в голову — никакого бессмертия души нет. Смерть так меня встряхнула, что я потеряла почти все «вешки». Кому и в кого верить?

Может быть, это и легче, если этого «бессмертия души» нет, ничего не надо «пригадывать»?

А что есть? Высокий могильный холм с венками.

Здесь, во дворе, в доме, где была она так несчастна (но ведь были и счастливые минутки, или, по крайней мере, радостные) живет ее душа, дух, везде она доселе чувствуется.

Мама так много молилась за своих детей — живых и мертвых. И сейчас — как пусто в мире без ее молитв! Мир весь теперь сосредоточен во дворе родного дома, в самом доме, в лампаде перед иконой Богородицы.

Никого не хочу слышать, никого не хочу видеть.

Отец говорит: ему снилось, будто какие-то парни просились открыть хату.

На остановке стояли пожилые бабы в платках, везли в сетках крупной вязки еще социалистического времени (внутри — картонные коробки) цыплят из инкубатора на хутор Нагольный.

Эта краснота щек — как яблоки — в больнице. Мама, мама, как это забыть?! (Или как это помнить?) Рука с синяком от капельницы. Как врач глаз ей открывал — насильно...

И мой страх. И мой ужас. И ее уход.

Через шестнадцать дней я вернулась в чужой город.

Выйду на улицу — к дому, к деревьям. Все большую тяготу я испытываю от этих бетонных коробок.

Душою я с ней, будто у меня и нет других обязанностей. Все как во сне.

Лето подкрадывается, подходит, а я и не вижу его. Что же она думала, чувствовала тогда, потерявшая двух детей, отъединенная бедой ото всего мира?!

Это ужасно — любовь к жизни куда-то ушла. Будто ее никогда и не было. «Мама, мама, зачем ты меня оставила?»

Погружаюсь в грезу — о работе, или о том, что она жива, и вроде бы чуть легче...

Я потеряла трезвость и ясность восприятия жизни.

Жизнь мгновенна — это особенно понимаешь сразу после смерти близкого человека.

Какая пустота и ненужность наступили в моей жизни! И во всем виновата я сама. Каюсь, раскаиваюсь. Со мной произошло то, что случается с тысячами гордецов. И вот ты выброшен из спасительного потока судьбы, ты уныло бредешь по берегу, а те — далеко впереди. Жизнь по привычке, как трудно в ней обрести смысл!

Все мне кажется, что, как только я выберусь на тропу своей судьбы, всем станет легче, все закрутится и завертится вокруг меня, я снова буду «фабрикой счастья», вокруг которой сложится целый «рабочий городок».

А иногда мне кажется, что, пока я не напишу о терзаниях своей души, прощения мне не видать...

С другой стороны, после смерти брата мне тоже было тяжело. Просто я была моложе. Тогда я вроде бы изменила жизнь, и вдруг все прежнее ко мне вернулось — еще тягостней и унылей...

И настало другое — неприязнь к жизни. Она, бестолково устроенная, пронизанная мелкими мыслишками и действиями людей, великой суетностью, вдруг оказалась почти ненужной. А то, что нужно, — скромно и

нетребовательно. Наверное, это мое очередное заблуждение. И если оно устоится, может быть, мне будет легче.

А все наши заблуждения, наверное, равноудалены от истины.

А смысл жизни — в самой жизни. И больше ни в чем. Чтобы все росло, колосилось (человеческое, здоровое), занимало жизненное пространство.

Есть ли люди-сорняки? Наверное, с точки зрения человеческой эволюции — есть. И сама жизнь либо «глушит» эти «виды», либо, напротив, позволяет им оплести собой культурные, но слабые растения.

Надо работать. Как это тяжело, когда в работе никакого смысла, кроме получения небольшого количества денег, нет.

Не вижу от себя большой пользы ни в работе, ни в самовыражении — все это слилось в тягостный, трудно разрываемый узел. Я все пытаюсь распатать, «разрубить» его. Бог, наверное, не оставит меня. Но хватит ли у меня сил следовать его воле?

Читаю слова, написанные в большом горе. Они плоски и казенны. Разве они могут передать то, что я тогда чувствовала! Эту громадную тяжесть жизни, пригибающую тебя к земле, как крест.

А иногда я думаю: раз уж ни на что более, чем вождение пером, я не способна (и то весьма ограниченно), то, может, в этом и состоит задача моей жизни — что-то накорябать, выговорить?

Прочитала о мытарстве души с 9-го по 40-й день. И если и там душа так же несчастна, как здесь, то какая же это справедливость?! Если земную жизнь считают иногда справедливой (чья-то Высшая воля, неосознаваемая, не постигаемая человеком), и если эта необъяснимая жестокая «справедливость» продолжается и после смерти, ну, знаете ли... Где ж тогда свобода человека?

И мне приходила мысль: наша личная любовь, помноженная на творчество, отнимала у нас столько сил и времени, что нас не хватало на наших близких.

А потом я думаю: разве мы кого обидели, оскорбили, обворовали? Разве лучше было бы нашим близким, если бы мы жили без любви, в беде и несчастии?

Человек, растерявший убежденность, ужасно слаб. Его любой может обидеть.

И наступила полярная ночь. Любовь моя не ушла, нет, она просто, как солнце, спряталась надолго. Но день обязательно должен наступить.

Хорошо летом в квартире все прибрать, вымыть полы, походить босиком по тепло-холодному полу, сесть, успокоиться, потом выйти на балкон, отдохнуть глазами в зелени трав и дерев и подумать, что надо куда-то идти, спешить, осваивать какие-то пространства... Жизнь так коротка и так красива, что невольно веришь в бессмертие души.

Разве можно лишать человека этой красоты?

Любовь моя стала почти сестринской. Не заметила я, как состарилась. Желание жизни приходит в равновесие с осознанием неизбежности смерти.

Хочется «нарядить все в хате», сесть и сидеть. Чего-то ждать, чудесного.

Неужели мир (его строение, отношения) существует только в моем воображении? А так — все другое, никем не познанное?

В день сороковин с утра дождь шел, потом развиднелось (на обед — только-только успели во дворе за столы сесть и помянуть); потом ходили синие тучи, градовые, набухшие, грозовые — грозные, потом вдруг дохнуло холодом страшным, потом пошел слепой сильный дождь при солнце и потом — я выскочила — над нашим тополем грозно и густо шумящим, встала радуга. Над тополем, над домом. Мама! Судьба твоя определена.

И снова заходила дождевая гроза по небу. И крыши, и солнце, небо было разное, как сама жизнь. Потом мне мама дала вдруг много-много силы, щедро. Правда, длилось это недолго...

Ехала в автобусе и думала об ужасной давящей тоске. И вдруг поняла — человек умирает, а страдание, которое он носил в себе, никуда не исчезает. Оно продолжает жить в мире.

По-прежнему мне везде чудится мамин голос, и кажется — вот она войдет... А этого никогда не будет.

Как говорила мне мама: «Голова забита, забита!..» Образ ее иногда совсем рядом со мной. И во сне она пришла живой, будто ничего не знающей, не подозревающей о своей кончине.

Сестра рассказывала, как они, таясь друг от друга, ходили с отцом на кладбище. А я не могла слушать без слез.

Сорок дней мама не ходит (не «тюпает») по родному двору, и хотя сестра с отцом все привели в порядок, подергали бурьян, все равно видно какое-то запустение. С грустью подумала я, что дух мамы отсюда уходит. Что никогда я уже не смогу ощутить силу и грусть родимого дома. Что, может быть, мне и не жаль было бы его и продать.

Странно, когда двигалась похоронная процессия, мы ведь прошли мимо совхозной хаты, где долго жили, потом мимо гаража, где она работала.

Есть места, по которым я абсолютно не тоскую, будто их и не было в моей жизни.

На следующий после сороковин день шел холодный дождь, вообще было пасмурно-хмуро. И я легла, впала в полузабытье — нечто среднее между сном и явью. Кажется, отец был в комнате, шуршал газетами. И вдруг я слышу сквозь сон мамин голос — она зовет меня по имени. Явно так, ясно.

Я мгновенно вскочила, побежала в прихожую, откуда она меня звала. Может, так она прощалась (ее душа) с домом, со мной?

Я думала о том, что для последовательных атеистов не так страшна сама жизнь, как страшна их смерть для родственников. Каково родным без обряда отпевания, девяти дней, сорока? В обрядах, в заботах, в людях чуть растворяется печаль.

После сорока дней вдруг ощутила я полное (почти) спокойствие. Пришла уверенность: душа моей мамы не оставлена Господом.

Инсульт ударил ее на пороге дома, на том самом месте, где она зимой просила сфотографировать их рядом с отцом.

Помню, как машина с гробом заезжала в открытые ворота и отец плакал: «Ну, приехала домой хозяйка!»

Сколько жизнью чувств, скорби, пронеслось в моей душе и умерло. В зрелости все видится и понимается совсем не так, как прежде. А в моей маме, словно от рождения до последнего вздоха, жила одна жизнь, как река. Только пейзаж ее берегов менялся.

Страдание так всколыхнуло во мне все, что взор мой на мир помутился. Так в бурю, в ливень заливают стекло автомобиля, и водителю кажется, что он не узнает округу. Все изменилось. И все — осталось. Гребешок для волос, «Архив», открытки, халаты, чашки... А ее — нет.

В жизни моей мамы с юности жила романтическая мечта. Она не осуществилась. Когда говорят «глубоко несчастна», это значит, что тоска и боль спрятаны глубоко-глубоко в душе. И по повседневному поведению о них даже не догадаешься. А о мечте я сужу по тому, как она берегла книжку «Отчий край», которую читала пятьдесят лет назад.

В ней было удивительное стремление к тщательности, к качеству, за что бы она ни бралась: шитье, побелку, варку борща, охорашивание могилки, посадку картошки, прополку огорода, строительство погреба и пр.

...Умерла — пел соловей.

Стол, тумбочка, телевизор. На железной кровати по ее указанию я красила «шишки», обои — она выбирала... Для чего же все-таки дана человеку жизнь? Неужели только для приниженных материальных достижений? Наверное, да. Но эти достижения, во-первых, должны быть трудовыми, а во-вторых, они должны быть не для похвальбы или излишества, а для дела, для жизни, для развития семьи, блага детей. Потому что быть совсем уж «духовным» в наше подлое время — это чересчур.

Мама при пенсии в 850 рублей никогда не казалась бедной. Напротив, она всегда была удивительно щедрой. Деньги находила для внуков, для церкви, на машину зятю. Всегда у нее для всех был гостинчик. «Конфетки», «мармелад», «прянички», «пирожочки»... Удивительное гостеприимство при том, что она жила очень бережливо и скромно (для себя).

Но был, был одно лето «загул», когда купили сразу телевизор, тумбочку под него, холодильник, газовую плиту, люстру. Машины четыре дня подъезжали от разных магазинов, сгружали купленное.



Это чувство удовольствия длилось недолго — вскоре (уже осенью) мы узнали, что у сестры рак.

Не помню, как прощались мы в последний раз, зимой. Кажется, не особо нежно — я боялась, что мама расплачется. Была уверена, что все будет хорошо. Ошиблась... Приехала, увидела эти щеки — красные яблоки. Легкая ли это смерть? Наверное, да. Никому не надоела.

...И навалилась на меня тоска.

Наша убежденность — просто весьма высокая степень заблуждения. Вера — следствие убежденности — счастье. В состоянии убежденности у человека есть точка опоры, посох, с помощью которого он идет по болоту жизни. И вдруг — посох выпадает из рук. Полная растерянность.

Кто же прав: те, кто убеждены, или те, кто во всем сомневается?!

Убежденность, заблужденность... А главное, непонятно, почему умирает человек.

А иногда мне кажется, будто безверье отбрасывает человека к каким-то началам, азам. Вера, напротив, иногда даже помимо воли человека поднимает его на высоту. Но вот вопрос: почему вера, убежденность иногда вдруг иссякают? Словно уходят в никуда.

Мне кажется, что люди живут сегодня в безверье безвременья. Но вдруг это только мое личное состояние, которое я невольно распространяю на всех?

«Время мертвых». Когда человек испытывает столько потерь, сколько испытала я, он начинает жить воспоминаниями, прошлым, он словно выбит из сегодняшнего времени, которое ему не оседлать. Начинается время мертвых.

Иногда я думаю: может, никакой загробной жизни нет, а есть жизнь их душ уже после смерти в наших воспоминаниях, где мы в своих мечтах создаем им «самые лучшие условия»? Может быть, это и сбывается?

Душа истосковалась по спокойному одиночеству.

Ночью долго плакала.

Утром жизнь показалась легче и проще.

Может быть, ошибка моей мамы в том, что она всю свою жизнь, все свое сердце отдала детям, а надо было оставить чуть-чуть себе?

Не знаю.

Любовь моя возвращается. Казалось, она почти истаяла, исчезла, вся вычерпана — пересохла, но вот забили маленькие ключики — колодец души наполняется живой водой.

Любовь возвращается. У меня — зов слова, а он — само слово, без которого нельзя жить и любить. Снова возвращается наша кровная связь, наша тоска друг по другу. Любовь... Стала ли она крепче? Нет, она стала неразъемней. Мы снова вместе, снова поет во мне его слово.

Любовь возвращается как очарование.

Беда и радость как времена года.

Вчера проплакала до трех часов ночи, вспоминая маму. Не знаю, кого жалче — себя или ее. Все время она со мной.

А сейчас, ночью, сижу на кухне, слушаю радио, песни. Грустно, но пока не плачу.

Да, любовь наша жива. Не знаю, была ли я тебе поддержкой в эти трудные месяцы. Но знаю, что без нашей любви жизнь была бы совсем невыносимой.

Нет, любовь — не заблуждение, не обман. Любовь — дар, может быть, даже больший, чем мы того заслуживаем.

Мама очень любила молодого Филиппа Киркорова. Считала его красивым и удалым: «От, чертенок, что вытворяет!» И сочувствовала, что у него такая старая жена (Пугачева).

Не будь я так привязана к маме, не приезжай я так часто домой, может быть, мне сейчас было бы легче...

Глядя на икону, в печальные глаза Богоматери: той жизни, что была, теперь уже никогда не будет.

У мамы моей был замечательный, потрясающий дар рассказчицы. Многие ее истории я даже сейчас не могу вспоминать без улыбки.

Вспоминаю: по телевизору идет передача «Театр+ТВ» — посиделки, с участием Швыдкого.

Мама спрашивает:

— Ну а кем они работают, эти люди?

— Из театра. Артисты.

— Ну а чё они такие жирные? Прямо мордатые, страшные...

А, может быть, горе — это величайший эгоизм?

Что мне за дело до того, что скажут обо мне и что подумают? Жизнь — мгновенна. Так ли уж часто мы делаем в ней то, что хотим? Разве что в безмятежном детстве, неосознающей себя старости да в безумии. Литература, возможно, один из типов «тихого» помешательства.

Человек тоскует по всей полноте жизни, от рождения ему дана любовь. Потом приходят потери. И вот уже не держит родная земля, только родные люди, потом и они уходят, и мир (весь) кажется пустым и ненужным. Можно уезжать отсюда, жить за границами, стариться, но так ничего и не понять: что и для чего?

Здесь все дышит и еще живет мамой: завалинка, обмазанная ее руками, посаженная ею яблоня, заборчик, поставленный под ее руководством, число «16» (номер дома), выведенное белым мелком на воротах. Но постепенно все это изменится, исчезнет под влиянием времени, и ничего, ничего не останется. Отчего же поют певчие: «Вечная память»?

При всей незначительности маминых «профессиональных достижений» — колхозница, швея, охранник совхозного тока — ее жизнь поражает удивительной ежедневной цельностью.

Суть этой жизни была в трагической глубине переживания и в беспрестанном поиске истины. «Есть ли на свете человек, несчастней меня?» После смерти брата, и особенно сестры, она едва жила, только силой воли преодолевая огромную тоску небытия.

Снег. Белым бела округа. Появляется особенная свежесть, сам воздух как бы тоже становится белым. Покойно, большие снежины все идут и идут, а ветки деревьев давно уже держат снег в три-четыре своих толщины, и от этого сказочно и волшебно на душе. Весь этот снег вышел из вчерашнего синего вечернего неба (а до этого — серого, наполненного). Как странно!..

И приснилась мне мама. Будто она, больная, лежит на боку в комнате (никогда она там не лежала!), желтая, а я прибежала к ней, глажу по щеке и говорю, чтобы она успела это услышать: «Мама, я тебя очень люблю! Ты это знаешь?» — а сама плачу. А она плачет, чувствуя, что скоро умрет...

Проснулись мы со слезами на глазах.

Особенно тяжело вечером. Когда утихнут телефонные звонки и сумрак ночи, темный, ползет...

И как-то причудилось мне, что приязнь к этому миру подарила мне мама. А то бы я могла ненавидеть окружающих, не любить жизнь. Все — мама.

«От я гадкая! Носяка здоровый!..»

Грубая?

Нет, самая большая нежность.

Из-за этого отношения мамы к своей внешности у меня сложилось превратное представление о женской красоте — маму я считала самой лучшей. И самой красивой.

В Новый год сидели с отцом за столом праздничным. И все мне казалось, что мама рядом, что она вот-вот войдет. И я услышу ее голос, почувствую ее доброту. А может, душа ее живет дома? Не знаю.

Пришла на кладбище. Утром выпал снег. Могилы — брата и особенно мамина — очень нарядные. Снег на венках пушистый, искрится.

Я рано пришла, а до меня — уже следы, кто-то был, подходил к маминей могиле — женские следы. Значит, большое горе привело человека, раз так рано пришел.

А я смотрела на могилы, думала: здесь так красиво, чуждо — нет, моей мамы здесь нет. Это просто место памяти.

А душа ее — дома. За новогодним столом все, как год назад. Те же юмористы в телевизоре, те же шутки от отца, почти те же блюда на столе, и те же тосты (только первый — не чокаясь — за маму. Впрочем, год назад мы тоже поминали — только сестру). Мы — живем, иногда даже и смеемся, а ее — нет... А может, она уже «отмучилась», и теперь ей хорошо там? Так я пытаюсь себя успокоить, смирить.

О памяти. Мне кажется, будь у меня видео с мамой, я бы не смогла его смотреть. У меня где-то есть магнитофонная пленка, там записаны десять или пятнадцать минут ее речи — я не могу слушать. Не хочу.

Какой должна быть память? Музеем? Пленкой? Фотографией? Нет, главная память в сердце, в глубине души, может быть, в дрожании пламени церковной свечи. Я не знаю.

Смотрела отрывки из фильма «Дело было в Пенькове» (один из любимых маминых). Красота актеров — удивительна! Какая духовная наполненность, какая чистота чувства, переживания, какие, в конце концов, типы (в лучшем смысле — единство характера, души, внешности), и, наконец, все вместе — какая правда! Я, мое поколение, это уже переходные типы (между правдой и «синтетикой»), следующие за нами будут полностью «пластмассовыми».

Дорога домой. Серебряный ветер. Три дороги — восторженная, потом — в предчувствии беды и — на годовщину.

Вдруг, ближе к году со дня ее смерти, я абсолютно уверилась, что мама есть, что она не умерла, что душа ее где-то рядом, и она, живая, вернулась и вошла в мою жизнь, миновав «мертвый» период.

Отец: «Год прошел как один день. Матери нету год, а будто она вышла на день».

Годовщина пришлась на второй день Пасхи. («Паски», — говорила мама.) Я помню караваи, особый хлеб с «цветами», «косичками», политыми сиропом, который она пекла к празднику.

Перед Пасхой (вечером) заехала на кладбище. Оно было торжественное, как перед парадом или демонстрацией — у каждой могилы яркие цветы, венки, ленты.

На праздник весь день шел дождь — с утра маленький, потом посильней. Оплакивал маму.

Потом позвонил дядя и высказался в том смысле, что, мол, покойники не любят, когда к ним часто ходят.

Не получается жить просто, житейскими материальными радостями. Я свою необычность ощутила очень рано. И она меня не радовала — пугала.

Я любила (и люблю) маму самозабвенно, не замечая (или легко прощая) все ее «недостатки». Может быть, она меня не так воспитывала, ошибочно, может быть, воспитай она меня по-другому, я была бы счастливей. Но я не хочу об этом думать — во всех своих несчастьях я виню только себя. А маму люблю и жалею. Будто она даже не только моя мама, а всего этого мира, который был мне дан, подарен, и в котором я так неуклюже живу.

Весна дождливо-поздняя. Слабо цветут вишни, зацветают груши, розовые почки на яблонях скоро раскроются. И когда я ехала, теперь уже, на годовщину смерти, мне было легче, чем год назад, когда я страшилась неизвестности, страшилась смерти. И как я «на всякий случай» взяла черную одежду.

На последней фотографии теперь я вижу, что мама очень болела...

Дождь шурует и шурует по крыше.

Мама лежала в гробу — это была не мама, а только ее тело. А сестра лежала — красивая, живая, это была она, уснувшая, розовая от сна, помолодевшая, отдохнувшая от страданий.

Помню, когда ехали к сестре на похороны, мы остановились ночью в Миллерово и проговорили с мамой всю ночь — я все пыталась ее отвлечь от горя, отвести в сторону беседы, как на базаре когда-то, куда она меня привела покупать табуретки, если вдруг «того».

Даже на Пасху телевидение ухитрилось всунуть «Аншлаг» или что-то еще цинично-глумливое. Сволочи!

Когда я размышляю о жизни и смерти, о Боге, много сомнений, раздумий, тревог. Но когда я вижу этот сладострастный шабаш врагов нашего народа, я ни минуты не сомневаюсь, что Бог есть, что все они будут наказаны, что «есть и Божий суд, наперсники разврата, есть грозный суд: он ждет, он недоступен звону злата...»

Непонятно, для чего живет человек. Может быть, самое умное — это жить глубинными инстинктами жизнелюбия, жить, как дерево, питаясь соками земли и протягивая ветви к солнцу, густя крону и соря листьями; жить долго, сея семена, пуская побеги; жить, давая простор для птиц в ветвях, тень для человека... Это, наверное, самое правильное.

Пушкин писал: «Нет, весь я не умру...» Боже мой, как это точно! Не умирает весь человек, как не умерла моя мама, она живет во мне, но не ужели, когда я умру, и она умрет вместе со мной?! Вот что ужасно. Потому что внуки уже не будут ее помнить и любить так, как я.

Дождь ходит по крыше. Сливы цветут. И большие круглые капли на ветвях.

Есть люди, словно бы сразу рожденные не для обычной, а для духовной жизни. Мама была, наверное, такой.

Среди своей практичной, «материальной» родни она выделялась, прежде всего, умом, который вроде бы и не сумела реализовать в «достижениях». Была она рождена для жизни мыслительной — может быть, для писательской (природный талант рассказчика) или для монашеской (повышенная совестливость). А от «материальной» родни досталось ей в наследство здоровое, неизбывное трудолюбие, решительность в преобразованиях (о моем дяде с маминой стороны рассказывала его жена: «Он мне сказал: иди, поли огород. Пока я туда-сюда, он взял и молчком прорубил дверь в стенке»). Но при этом у мамы была высокая духовная чуткость, такт, оглядка на «что люди скажут», желание «жить как все». И при всех ее титанических усилиях последнее у нее почти не получалось...

С каким деревом можно было сравнить маму? С яблоней — устойчивой, ветвистой, с нежным розовым цветом весной, с ядреными, щедрыми, красивыми плодами осенью. Когда погиб брат, над его домом в ту осень было много-много яблок. И у сестры покойной в саду росло много яблонь (яблоки — ее любимая «передача», «гостинчик» мне).

И вот я вышла в палисадник, и вижу — на любимой маминой яблоне («мед»!) засохла одна часть раздвоившегося ствола. Яблоням этим больше двадцати лет...

Одну яблоню во дворе мама вырастила из случайного семечка, уцепившегося за землю. Я относилась к этому эксперименту пренебрежительно: зачем нужна дичка, кислятина? А выросло чудо-дерево с крупно-сладкими, золотыми, ликующими плодами.

Теплый ясный день без летнего зноя — распускающаяся яблоня, запах меда в цветущей вишне, легкая грусть поздней весны... И снова боль — что нет мамы, что какие-то маленькие радости (отцу на День Победы подарили одеяло) уже без нее... Грустно. И непонятно, как жить. То есть непонятно, почему это так мгновенно и быстро кончается? И что будет потом? Неужели ни-че-го?!

«Знаю я, что не цветут там рощи...» Откуда он знал? И отчего так грустно?

Все сложнее и мучительнее забирает меня чувство оторванности от родного дома, двора, деревни и от невозможности «простого», чисто земляного существования. Я бы, наверное, не смогла быть счастлива здесь. Но и там — счастлива ли я?! Единственное примирение и выход — любовь.

Можно только позавидовать людям, которые никогда не думают о смерти.

Прочитала то, что я написала о маме, и — сама заплакала, сердце заболело. А потом думаю: может, это мое единственное богатство — вот эта «хлипкость»... В нашем жестоком мире.

Теперь я смотрю на жизнь с холодным горем, спокойствием. Взглядом человека, вышедшего из смертельного боя, в котором многие его близкие погибли.

Когда погиб брат, у меня была такая боль, будто у меня оторвали руку. Я эту боль чувствовала физически — несколько лет. Искала родную душу — не в силах была переварить это горе сама. Но — была моложе, сильнее. Потребовалось пять лет, чтобы эта рана затянулась. А для матери? Каково ей было?!

Мама, мама... Когда мы шли с дальнего огорода, я любила ее вести «под ручку» — знала, ей нравилось! Любила именно из-за того, что она сначала отказывалась: «Ой, люди скажут: поволокла ее, сама уж и не дойдет!»

А как мы сидели долгими зимами на лежанке, книжки читали! Она, допустим, Льва Толстого, а я — Стендаля! Или — наоборот. Книжки я носила вязанками. Теперь той библиотеки нет — закрыли.

Вспоминаю мамин «политический комментарий» после просмотра программы «Время»: «Солдат поморозили, детей потравили. Грызлов сам в телевизор лезет, балакать никого не пускает — ни Жириновского, никого».

А вот ее местные новости (из письма): «Девка Турманова надевает маску самодельную, очки из бумаги и грабит по ночам дома — вроде как она фантомас. Еле поймала милиция — жила она в хижине, в сосне. А че мать? Она ей уже ничего и не сделает...»

Любовь... Через какие испытания ты только не проходишь... А что есть любовь? Может, это чувство тоски по продлению рода? Инстинкт, который мы пытаемся украшать культурой? Нет, все-таки главное — это поиск, угадывание родственной души.

Ни о любви, ни о жизни мы ничего не знаем и не узнаем.

И вот, кажется, я пережила и эту потерю.

Если у дерева сломить макушку или оторвать одну из главных ветвей, или изуродовать ствол, или перебить несколько корней, оно будет долго болеть. Может и умереть, засохнуть. (И никого этим, кстати, не удивишь). А может и выздороветь, выправиться.

Теперь я жалею не страдающих людей, а беззаботных счастливцев, которых когда-нибудь настигнет житейское горе. Будьте мужественны. Если, конечно, сможете...